

гамоцкий андрей

зверь  
ВЫХОДИТ  
ИЗ ВОД

18+

Андрей Гамоцкий  
**Зверь выходит из вод**

«Автор»

2019

## **Гамоцкий А. В.**

Зверь выходит из вод / А. В. Гамоцкий — «Автор», 2019

Санитар советской психбольницы накануне годовщины Октябрьской революции. Командир подводной лодки, заставший появление необъяснимой и загадочной Стены. Курортник с возлюбленной, загнанные в бассейн таинственными волками-людоедами. Истопник, сжигающий в Печи мусор - для защиты человечества от смертельных солнечных лучей. Четыре истории. Истории о том, что такое человек. И кем человек является на самом деле. Особенно тогда, когда нужно сделать выбор.

© Гамоцкий А. В., 2019

© Автор, 2019

*Если лицо совершенно меняется от того,  
сверху ли или снизу его осветить – чего же стоит лицо?  
И чего все вообще тогда стоит?  
Уильям Голдинг, «Повелитель мух»*

## **Между криком и стихом**

### **1**

Шажок. Остановка. Шажок. Остановка.

В конце пути маячили распахнутые двери. Некогда белые, отдающие желтизной от падающего с ванной света. С разболтанной от старости щеколдой.

Сдавленный вздох рядом. Он перевел взгляд. Придерживая грузное, тянущее долу тело, они все же продвигались вперед. Медленно и неуклюже. Одна рука обхватила складчатую, рыхлую талию, а другая подпирала отекающую ладонь.

Шажок. Остановка. Шажок.

За шаркающими тапками тянулись полуобутые, полувнедренные ноги.

Если было достать, мать хваталась свободной рукой за что-то квартирное – угол стола, спинка стула, дверной косяк, обойная гладь стены. Услужливые и ветхие поручни. Выпуклости ее плоти нехотя следовали за ним, брылы конечностей колыхались величаво и стыдливо. Огромное тело, что свободно, на грани бесстыдства, прикрывала ночная рубашка.

Шажок. Остановка.

Еще шажок. И теперь – два шажка.

Они подошли к ванной. Мать плашмя положила мягкие, податливые сардельки пальцев на холод стены. Ее вытянутая рука походила на набитый, отвисший клюв пеликана.

Каждый шаркающий шажок сопровождался сильным втягиванием воздуха, судорожной цепкостью хватки, мучительным искривлением щекастого, с бороздами лица.

Он привел мать к ванной. С-под подола мятой ночнушки выступали массивные слоновьи ноги. Забинтованные бурым бинтом, от лодыжек и до колен.

Шажок. Еще шажок.

Он уперся об боченок стиральной машины. И пододвигал мать все ближе.

Они почти дошли. Бурлящий пучок воды до половины наполнил емкость ванны. От посеревшего горячего крана исходил пар. Зеркало-иллюминатор над умывальником-стойкой запотело.

С кухни играло радио. Там грудным голосом и с надрывом пела женщина.

Мать перевела дух и произнесла сдавленным шепотом:

– Выключи, прошу тебя.

Он шмыгнул на кухню и скрутил коробке звук.

– Женщина, которая поет, – усмехнулась мать, когда он вернулся. – А я женщина, которая ползет.

– Готова?

– Давай постоим еще немного, соберусь с силами.

Искоса он взглянул на ее лицо. Разобранное глубокими бороздами, покрытое испариной, одутловатое и одновременно болезненно поджатое. Лицо человека, что устал терпеть, но не может представить без этого жизнь. Потому что это – и есть жизнь.

Чуть ослабил хватку баянистой талии. Отступил на шаг. Мать крепче уперлась в плитку. Закрыв глаза, с замирающей неподвижностью отгоняла боль.

– Как ты? – все же спросил. Участиво положив ладонь на жировое возвышение у затылка.

– Огнем горят.

– Может, отложим? – произнес с ноткой жалости.

От нее исходил густой, наваристый запах. Запах давно лежалого, прелого тела. Запах извилин, впадин и складок, что накопили слишком много пота, отмершей кожи, микрофлоры.

– Шутишь? – возмущенно прошептала. – Я уже неделю не мылась. Сама себе противна стала.

Он промолчал. Взгляд потянуло на замазанное окно, ведущее на кухню. Затем на грелку, дохлой и сдутой тушкой повисшей на крючке.

– Сними, пожалуйста, бинты, – сказала.

Сел на корточки. Принялся бережно разматывать бинты. Грязная белизна марлевой ткани постепенно рыжела, превращаясь в пласты ржавого и бурого. Последние мотки он производил особенно тщательно и аккуратно. Волокна присохли к коже, и приходилось их отдира- рать.

Кожа голеней матери была синюшно-коричневого оттенка. Сплошь кровавые корки, чешуйки застывшей сукровицы, просочившиеся из трещин и язвочек. Мать приподняла сначала одну ногу – он скинул распластанные тапки, стянул носки, обнажив чернильного цвета ступни – а затем и вторую.

– Помоги, – тихо проговорила, пододвигая тело к борту ванны. Он коснулся коленом ее внешней тяжелой шероховатости. В островном углу свисала длинная мочалка, похожая на брикет из тонкой спиральной вермишели.

Используя его плечи, как упор, мать взобралась внутрь. Вскрикнула.

– Печет, печет как! – запричитала, округлив глаза. Впились пальцами в плечо, отчего он болезненно дернулся. Несколько мгновений ждала, чтоб унялись спазмы. Он с тревогой смотрел на ее дородное, краснощекое лицо. Затем взгляд упал вниз – на пораженные, покореженные ноги. Живое место на них отыскивалось с трудом. Свитые и скрученные пучки вен рельефно пролегли среди островков струпьев.

В воде расходилась тучками красноватая муть.

Шатаясь и все еще хватаясь за твердость стенки и него, мать шлепнулась внутрь сидячей ванны. Раздался беспокойный всплеск воды. Она рывком вцепилась за бортик быстро побелевшими костяшками, оцепеневшим взглядом зависнув на одной точке.

Он отступил, присел на крышку унитаза, отвернулся. Вскоре мать закрутила кран. Стало вдруг непривычно тихо. Запоздавшие капли плямкали об взволнованную рябь.

– Возьми, пожалуйста, – сказала мать. Он склонился в ее сторону и незряче протянул руку. В нее был вложен ком ночной рубашки. Порыскав глазами тазик с залежами белья, мельком проскользнул взглядом по расплывчатой, блестящей плоти – громоздкой, бугристой, бледной. Обвислые груди с коричневым днищем, гармошка складок. Горка широкого тела с волосяным округлением наверху.

На несколько мгновений воцарилась тишина, которой столько же лет, сколько они помнили друг друга. Тишина его взросления рядом с ней, дней и ночей, прожитых в одной комнате. Их обоюдная тишина, которая всегда была их родной стихией, хотя то и дело прерывалась болтовней.

Мать вздохнула. Громко, изнуренно, протяжно.

– Извини, что вынуждаю возиться со мной.

– Ничего страшного, ма, – тут же, с готовностью, ответил он.

– Я прекрасно понимаю, насколько тебе в тягость. Но я ничего не могу поделать.

– Все нормально, перестань.

– Человек эволюционировал от рыбы, стремившейся покончить с собой. Ты думал об этом? Ради чего ей еще было выбрасываться на берег? У нас гены этих рыб. В нас заложен этот инстинкт саморазрушения, выбрасывания на берег.

– Ну к чему ты это сейчас?

– Чувствую себя тем самым первобытным зверем, выползающим из воды. Нелепо, неуклюже, бестолково. Но упорно и твердолюбо. На зачатках лап. Жуткое чудище из тьмы морских глубин. Которому ведь там и было место.

Поерзала, вмещаясь поудобней.

– Сейчас вот чувствую себя рыбой, – сказала сквозь шумный водяной ляг. – Какой-нибудь неуклюжей касаткой. К тому же гниющей касаткой.

– Пожалуйста, перестань говорить такое.

– А ты бы видел, какой я раньше была. До этой треклятой болячки. Кстати, старый друг звонил. Очень в гости напрашивался. Я как могла отнекивалась, а он ни в какую. Приду и все тут, сказал.

– И что, придет? – недоверчиво спросил он.

– Похоже, что да, – виновато ответила мать, помедлив.

– Когда? У нас же бардак страшный!

– Та знаю я, – сказала мать. – Думала, если ты по верхам пройдешься...

– Так а когда он придет?

– Завтра вечером.

Повисла пауза. Он рассматривал серые швы плитки, нашел отколыш, давно известный, похожий на Килиманджаро из картинки по географии. За стиральной машиной подпирал стену отжим, состоящий из двух тесно подогнанных валиков. Еще дальше терялась в пыльно-паутинном полумраке стиральная доска.

Он ждал, что она скажет. С тягостным замиранием сердца вот-вот ждал услышать ее неминуемые слова.

Плеск прекратился.

Он неосознанно задергал желваками. Хотелось показным, размашистым жестом закрыть лицо и устало сгорбиться. Но он сдержался.

Знал, что ничего не изменит, а лишь огорчит.

– Я бы ни за что не просила, – начала мать. – Знаю, как ты устаешь на работе. Но у меня никого больше нет, кроме тебя. И попросить попросту некого.

– Я приберу, не переживай.

– Спасибо тебе, – сердечно сказала мать. – Одеться я постараюсь сама, обещаю.

– Хорошо.

Тут же, намереваясь сменить тему, мать весело произнесла:

– Стыдно признаться, этот друг прямо считает себя Ахматовской сиротой. Вернулся он с далеких краев. И, пойми, отказать ему невозможно.

– Это мне завтра после смены надо будет успеть убраться, – проворчал он.

– Тебе вовсе не обязательно... – заторопилась мать, но он перебил.

– Обязательно. Мне будет неприятно, если твой гость придет в сарай.

– Спасибо, – ответила. – Я постараюсь тебе помочь.

– Об этом и речи нет, – твердо сказал. – Я справлюсь. Ничего сложного в этом не вижу.

– Ты же с ночной смены вернешься, уставший. Давай хоть поспишь несколько часов.

– Да, не смею отказать, – улыбнулся.

– Кстати, расскажи, как прошла сегодня смена.

Удар вышел скользким, смазанным. Волосы на затылке были взмыленными, и, ударив, он ощутил на ладони влагу чужого пота. Поморщился и брезгливо вытер об свои санитарные брюки.

– Олешик, тише, – устало прохрипел Михалыч. Одутловатые, обнесенные пепельной щетиной вислые щеки, скорбно оплывшие слизью глаза. Кое-как прилизанные вбок остатки растительности.

Получив подзатыльник, человек дернулся и опасливо пригнул голову. Он с отвращением наблюдал, как капли пота стекают по вые и пропитывают воротник пиджака.

– Фио, – пошелестев бумагами, вздохнул и взялся заполнять историю Михалыч.

– *Гречук Степан Федорович*, – тихо произнес человек. Это был высокий, сутуловатый и обильно усатый брюнет.

Он и другой санитар, Сережа, переглянулись. Михалыч добродушно хмыкнул. Деловито заполнял пустующие строки. Даже не видя, что пишет доктор, он мог чуть ли не дословно пересказать каждое слово.

– Мовою, значит? Из буржуазных националистов? Бендеровец?

Гречук промолчал.

– Год рождения.

– *Сорок другой*.

– Полностью, пожалуйста, – надавил доктор.

Гречук послушно отвечал. Тем не менее, он улавливал в его голосе твердые, чуть не нагловатые нотки. Обходительный, внимательный, руки на коленях. Смиренность позы казалась ему показной и лицемерной.

Данный диссонанс выводил его из себя. Хотелось хорошенько треснуть, чтобы зубы клацнули. Он снова оглянулся на второго санитаря – и тот понимающе кивнул.

– Федорович, говорите? А случаем не Фрицович какой-нибудь?

Гречук насупился. Сверлил глазами врача, но молчал. Михалыч же пристально следил за ним.

– Так, – невозмутимо продолжал между тем врач. – Профессия.

– *Вчитель*.

– Еще и учитель, – хмыкнул Михалыч. – И чему же Фрицович учит советских детей?

Гречук молчал. Его бледное лицо оттеняли сизые веки, нить губ, изломы skulls.

– *Я не Фрицович*, – процедил сквозь зубы.

– Та ну что вы, – хмыкнул доктор. – Ну, согрешила мамка, с кем не бывает, на оккупированной территории же была.

– *Що ви цими образами від мене намагаєтесь почути?* – злобно выпалил учитель.

«...возбужден, болезненно заострен на эмоционально значимых для него темах...»

– Семья хоть есть у вас, Гречук? – с участием вдруг поинтересовался врач.

– *Ні*.

– Почему?

– *Не вважаю за потрібне*.

«...проявляет равнодушие к своей личной жизни, схвачен сверхценными идеями настолько, что "не считает нужным" завести семью...»

– Что же вы такой неприкаянный, а? – по-отечески склонил голову Михалыч.

Гречук громко вздохнул, опустил голову и принялся демонстративно созерцать паркетные щели.

«...периоды возбуждения чередуются с выраженной эмоциональной уплощенностью и апатией...»

Михалыч продолжал интересоваться, повысив голос:

– Так чему же вы учите детей? Как родину не любить? Как быть змеей, пригретой на груди? Выкормленной, воспитанной и подлой змеей?

– Ні, – сухо ответил учитель. – *Я вчу дітей історії.*

– Ага, учитель истории, – довольно цокнул Михалыч. – И что вы рассказываете советским юношам? Как москали кляти неньку сплюндрували?

– *Я, на жаль, вчу тільки тому, що написано в підручниках,* – выдавил со смелостью в голосе Гречук.

– И что же там написано, по-вашему?

Гречук напрягся. Он был похож на выскочившую из реки выдру, учуявшую опасность.

Доктор писал что-то наподобие «...осуждает систему советского образования, скептически относится к достижениям пролетарской исторической науки, неуважителен к учебной программе...»

– Ну же, отвечайте.

– Отвечай, дрянцо интеллигентное! – вдруг рявкнул он и зарядил еще раз по сальному затылку. Брызнули капли. Звук вышел глухой и невнятный.

– Олежик, угомонись же! – раздраженно сказал Михалыч.

Он молча, обиженно отступил.

Взглянул в широкое окно, что высилось над белохалатной спиной Михалыча. С окна корпуса открывался густо засаженный деревьями двор. Покосившиеся хозблоки, столовая, ряд бело-красных скорых. Вдали медленно и гулко просыпался город.

Он вспомнил, что мать дома одна. И он скоро к ней вернется.

Его вернул к действительности вызывающий голос учителя.

– *Ні. Я хочу свободи. Свободи – мені, моїм рідним, близьким, моїй батьківщині. Землі моїх дідів. Кожного ранку, прокидаючись, я відчуваю, як мене душить усвідомлення того, що я раб. Що я скутий і прибитий. Що крок вправо – етап, крок вліво – психушка.*

«...явный бред реформаторства...»

Михалыч понимающе, миролюбиво закивал головой.

– Может это и есть признак того, что вы больны? – хитро прищурил глаза.

– *Але ж це відчуття душить не мене одного. Подібних мені мільйони. Нас ціла нація. Чи може вся нація бути хворою?*

– А почему бы и нет? Есть нации, что постоянно что-то требуют от других? Что винят в собственных бедах соседей.

– *Я нікого не звинувачую. Я просто хочу, щоб мою землю залишили у спокої.*

«...сверхценная, мессианская идея спасти нацию...»

– Вас, малоросов, хлебом не корми – дай пожаловаться на свою угнетенность. Вечно вас донимают, порабащают, захватывают, жить вам не дают.

– *Так у тому ж і річ, що ми окуповані більшовицьким режимом.*

– Глупости. У вас свободная советская Украина. Свободна, как птица.

– *Як птах у клітці. Дихати він може, їжу та воду дають. І нас змушують вважати, що цього достатньо. А те, що у нас своя історія, своя культура, своя мова, своя нація врешті-решт – це забувається, принижується, ганьбиться.*

– С каким апломбом, с каким казацким вольным гонором вы позиционируете себя. Сколько высокомерия. А, по сути, холоп холопом. Несчастный, потерянный в обществе холоп. Ибо общество здорово, а вы больны. И вы это ощущаете, на подсознательном уровне, но все же ощущаете. Ваш конфликт с окружением разъедает вас изнутри. И потому вы скатываетесь в психопатию все глубже и глубже.

Гречук напряженно молчал. Михалыч продолжал искусно обрабатывать, оплетать будущего пациента.

– А советская власть чем вам не угодила? Кстати, та самая власть, что вырастила вас, дала образование, работу, одела и накормила. Что, плохо живется? Раньше ведь тяжелей было. Война, разруха, культ личности. Отец ваш воевал?

– Так.

– В УПА, небось?

– Ні.

– Фрицам помогал грабить деревни?

– Ні. Він загинув під Кенігзбергом.

– Калининградом, я попрошу, – сурово поправил Михалыч. – Но вам, я посмотрю, не мешает это плевать на могилу отца.

– Ні, я в жодному разі не плюю.

– Еще как плюете. У вас ведь обнаружены запрещенные книги.

– Я не знав, що вони заборонені.

– Не валяйте дурака, Гречук. Все вы прекрасно знали. И что это статья – тоже знали.

– В книгах нічого забороненого немає.

– Они содержат клеветнические измышления, порочащие советский общественный и государственный строй.

Гречук иронично хмыкнул.

– Все, що не підходить вашому брехливому режиму – наклеп.

– Даже так, – хмыкнул Михалыч. – Вам бы лучше сказать, откуда они у вас появились.

– Не пам'ятаю.

«...выявляет признаки амнезии...».

– И что в них интересного? Это же стихи, да?

– Так. Я обожнюю українську поезію.

«...выказывает мелконационалистическую привязанность, местечковую, хуторскую тягу к стихам запрещенных поэтов...»

– Стуса тоже любите?

– Люблю.

– Есть сведения, что вы его встречали на вокзале.

– Це теж заборонено?

– Разумеется, нет, не ерничайте.

Гречук вдруг агрессивно произнес:

– Ви знаєте, виходячи з вашого допиту, уніформа була би більш доречно, аніж цей бутафорський халат.

Михалыч заулыбался. Продолжал заполнять историю.

«...демонстрирует неуважение к медицинским сотрудникам, а также страдает на галлюцинации с манией преследования...»

Затем Михалыч вернулся к разговору.

– Так зачем вы встречали на вокзале борца с советской властью?

– Він не борець, він насамперед поет.

– Но ему что-то не по душе в нашей действительности.

– Мало якому поету, чи навіть просто людині вільнодумній буде до душі дійсність. І тим паче – ваша дійсність.

– Вы же отлично знали, что у вас возникнут проблемы. И тем более, за хранение анти-советской литературы. Которую он вам передал.

– Я і гадки не мав, що вірші можуть спричинити шкоду системі.

– Могут. Если они взбаламутят хоть одного советского гражданина – это уже вред.

– Хоч одного... Хм, під час війни та репресій якимось не дуже піклувались над одним. Знищували тисячами.

Он дернулся было к учителю, но Михалыч вовремя его остановил. Быстро взглянув на часы, доктор произнес:

– Все, Олежик, давай закругляться. Иди домой, отсыпайся.

### 3

Порезанный тенью от листвы, дом укромно манил. Этим ранним осенним утром было вокруг тихо и просторно. Спали деревья, спал ветер, солнце нехотя карабкалось на вершину небесного колпака.

С чемоданом в руках, тихо насвистывая, из темного подъезда вышел мужчина средних лет. Беззаботно насвистывая, легко проскочил ступеньки и зашагал по крошке разбитого асфальта. Поднявшись по взгорью, мужчина повернул налево.

Он провел мужчину завистливым взглядом.

В скверике, что находился на возвышении перед его домом, сидел дворник и дымил папиросой. Заметив его, плетущегося к ступенькам подъезда, дворник приветливо махнул рукой.

Он ухмыльнулся и завернул в тень древних дубов и кленов. Дворник был седеющим дедом с пожеванным лицом и жилистыми руками. Он поздоровался, пожав сухую ладонь, и сел рядом, вытянув ноги. Закрыв глаза и откинул голову назад.

Посидели немного в молчании. Город сонно ворчал в отблесках солнца. По улице прокатил москвич, дребезжа на ухабах.

– Безобразно прекрасное утро, – широко зевнув, он открыл глаза и проследил за автомобилем.

– Бабье лето, мать его, – простодушно сказал дворник. – Скоро начнется листопад полным ходом, жопу надрывать придется.

– Я в тебя верю, – сказал он, затем назидательно поднял палец. – А главное – партия в тебя верит.

– Олежик, я никак не раскушу тебя, – ворчливо произнес дворник. – Ты это все ерничаешь или на полном серьезе излагаешь?

– Брось затею с раскусыванием меня, Степаныч, – усмехнулся. – Ничего вкусного ты там не найдешь. А вот в деле постройки коммунизма не до ерничания. Что за коммунизм без чистых и подметенных дворов?

Могучие, вековые растения неторопливо сбрасывали шелуху. Рабочий люд зевками возвещал о наступлении утра.

Дворник недовольно отвернулся, без энтузиазма докуривал папиросу. Он мельком взглянул на его огрубелые, будто придаточные пальцы с грязными окоемами ногтей. Седеющие клоки волос выбивались с-под засаленной кепки.

– Сам-то как, Олежик? – спросил дворник.

– Отлично, – добродушно ответил. – Отдыхаю.

– Похоже, тебе это выпадает не часто. Ты же с ног валился, пока шел сюда. А под глазами мешки спальные.

– Что ж, на пенсии выплюсь.

– С таким режимом до пенсии можно и не дотянуть. Худющий стал, как скелет.

– Берегу фигуру.

– Шуточки шутишь, – недоброжелательно хмыкнул дворник. – А мать там что?

Мелкие изгибы от ухмылки тут же сгладились на его костлявом лице.

– Держится, – сказал сдержанно.

– Ты не передумал?

– Нет.

– Олег, – дворник вздохнул и мягко продолжил: – Ты ни в чем перед ней не виноват. Она прожила свою жизнь. И теперь тебе пора жить свою.

– Вы что, не понимаете? – его голос был неровным, капризным. – Это моя мать. Мать. И точка.

Дворник не отступал.

– Подумай все же хорошенько. В стационаре ей будет гораздо лучше. Медсестры умеют ухаживать за подобными больными, это их работа.

– Я ухаживаю ничуть не хуже.

– С чего ты взял?

– Дома ей лучше. Со мной ей лучше.

– Сомневаюсь. Вы оба мучаетесь, и мучаете друг друга. Ты молодой парень, а света белого не видишь. Загнал себя до истощения.

– Мне в радость. Я буду ухаживать за ней столько, сколько потребуется.

– Существуют же специальные службы, профессиональная медицинская помощь. Может, хоть сиделку возьми, чтоб разгрузила.

– Не хватит у меня денег на сиделку. Ползарплаты уходит на лекарства.

– Какие еще лекарства? – строго переспросил дворник. – Государство же обеспечивает всем необходимым.

– Обеспечивает то обеспечивает, но оно не помогает ни черта. Мне знакомый с Чехии привозит.

– С Чехии, – насупился дворник. – Нехорошо это.

– А хорошо смотреть, как у нее ноги гниют?

– Это все потому, что ты уперся рогом и не хочешь ее в больницу отвезти. Ты виноват, а наговариваешь на государство.

– Ни на кого я не наговариваю.

– Я могу чем-нибудь помочь? Ты говори, если что. Я твою мать не один год знаю, ко мне обращайся, а не к своим знакомым подозрительным. Мы с ней дружили раньше, в гости звала. Не то, что сейчас. Ну, я не напрашиваюсь, конечно...

Он спохватился, выравниваясь на скамейке.

– Ох, забыл! Убрать же надо дома. К нам как раз вечером придет ее давний друг.

– Давний друг? – удивился дворник. – Что еще за давний друг?

– Без понятия, кто такой. Я и сам удивился, честно говоря. Никому показываться не хочет, а тут вдруг гость.

– Странно.

– Говорит, давно не виделись. Пропадал он где-то в дальних краях.

Дворник что-то мрачно пробормотал, затем хлопнул себя по пузырящимся коленям и поднялся.

– Раз такое дело, беги домой, помоги матери, – сказал.

– Да, пожалуй, так и сделаю.

#### 4

Он прошелся тряпкой по поверхности, оставляя очищенные тропы. Слой пыли походил на пушковый волос. Он тут же вспомнил, как подростком поджигал клубки тополиного пуха, и представил, как огонь пройдет по лакированной поверхности. Подчистую слизывая серый налет.

Прочистив между решеток стабилизатора и положив его возле выпуклого ока телевизора, он отошел к дверному проему, что вел в коридор. Окинул требовательным взглядом ком-

нату. Подлатанная, заставленная у стен, неброская уютность. В воздухе мерцала встревоженная взвесь.

В гостиной было светло и свежо. У его кровати громоздился ковер – олень на фоне гор и посреди каменистой реки, вызывающе застыл и храбро вытянулся в стойке. За кроватью находился стол. С отбитым, некогда острым углом. Стол, привычно выжидающий оплошной неуклюжести, чтоб родить на человеке синяк, ушиб или ссадину. Ему всегда казалось, что так дерево мстит за геометричное умерщвление. Сейчас стол был накрыт узорчатой скатертью, похожей на вырезанные и спаянные между собой снежинки.

За столом возвышался на тумбе телевизор. Выключенный, потому что мать читала, но, тем не менее, словно наблюдающий за всем мутно-болотный глаз. От телевизора в сторону находились окна с дверью на балкон. Захламленный, с веревками и прищепками, с гниющими санями и ржавеющими тазами. Впрочем, тюль со шторами надежно и успешно прикрывали накопившееся безобразие.

Противоположную стену комнаты занимал сервант со шкафами и полками. Длинный, как вагон. Сервант с дребезжащим хрусталем – будто стоящий здесь вечно, в глубокой и беспросветной неприкосновенности. В макулатурной плотности безмолвно жались книги, все эти вездесущие Дюма, Дрюоны и Джеки Лондоны. С обтрепанными корешками, штемпелями цен, которые он любил угадывать в детстве. И со страницами, где, как археологические артефакты, запечатлены брызги цитрусовых, округлые жирности пальцев, морщинистость от водных клякс, мумифицированный трупик насекомого – прибитого и втиснутого среди черных строк.

За громоздко-коричневым дубовым шкафом была кровать матери. Сейчас она была занята чтением. Светильник над ее головой создавал подобие нимба. За ним красовались фотообои с изображением лесного пейзажа.

Остался ковер. Он осторожно скатал его в рулон и, маневрируя задним ходом между мебельными выступами, вышел за дверь.

Вытащился на лестничную площадку. У соседней двери копошилась с ключами Серафима Петровна. Скукоженная, маленькая, округлая, как картошина, с седенькими стебельками над пятнистой макушкой. В руке у нее свисала сетчатая авоська, с которой она, похоже, не расставалась ни на минуту. Никогда ведь не угадаешь, когда подвернется случай что-нибудь заполучить да удобно унести.

Бабушка повернула свое истертое временем лицо и испуганно охнула.

– Извини, Олежичка, – залепетала. – Стою тут у прохода, загораживаю.

– Ничего-ничего, места хватает.

Сцепив зубы, он терпеливо протискивался в обнимку с вялым столбом скатанного настила между бетонированной стеной и бабушкой, что ни на сантиметр не отступала в сторону.

Серафима Петровна любопытно наблюдала за его трудным, неудобным спуском.

– Никак уборку затеял? – по-черепаши выгнула шею в сторону приоткрытой двери. – Хозяйничаешь, я погляжу.

– Именно. А то в грязи купаемся.

Кряхтя, он посматривал на ступеньки и едва не въехал свисающим концом ковра бабушке по виску.

– Гостей ждешь? Наконец-то с девушкой познакомился?

– Нет. К маме гости.

– К маме? – удивилась бабушка. В ее голосе просачивались нотки разочарования. – Что, ей легче становится?

– Да-да, легче, – с натянутой вежливостью ответил.

Соседка продолжала что-то говорить, но он уже вытащил ковер из парадного. Возле детской площадки находились столбы с железным турником-перекладной. Он развесил туда ковер изнанкой наверх. Взял плетеную хлопушку и принялся лупить по песочного цвета ткани. С изнанки хлестко рвались ударные волны пыли, едкие и удушливые. Хлопки приглушали детский гвалт возле качелей, суетливую беготню, перекрыли птичью трель и редкий рокот проезжающего автомобиля.

Он колотил по ковру долго, до ощущения немоты в плечах. Пылевой туман и не собиравшись стихать, слезил глаза и сухим пластом обтягивал разгоряченную кожу. Выбив многое, и выбившись из сил, он остановился. Склонился, обхватив руками колени, пытался отдышаться. Во рту липким камнем перекатывалась слюна.

Расстелив на место ковер, он смыл с себя грязь. Пошел на кухню, напился воды. По привычке, следуя с детства заведенному ритуалу, рассматривал знак ГОСТа на доньшке граненого стакана.

Из комнаты раздался окрик.

– Звала меня? – спросил, подходя к проему.

– Олечка, не нужно вылизывать дочиста, – с виноватой улыбкой произнесла мать. – Хватит, прошу тебя. Посиди лучше со мной, отдохни.

– Я и так почти закончил.

– Вот и замечательно. Побудь со мной. Ты и так последнее время измотанный, я же вижу.

Иди сюда.

Мать зазывно похлопала по кровати.

Он добродушно улыбнулся. Мать полусидя читала на широкой постели. Очки в роговой оправе отблескивали и делали ее похожей на авиатора.

Он присел на кровать. Сам не заметил, как безвольно опустились руки. С мокрых волос капли щекотливо сползали к шее.

– Знаешь, я так тебе благодарна, – сердечно сказала мать.

– Перестань, – ворчливо сказал и отвернулся.

– Нет, правда. Ты и представить себе не можешь, как я счастлива. Что у меня такой сын. Что у меня есть ты. Это грустно, что я старая, больная, немощная женщина. Но я счастлива. Быть счастливой матерью – вот высшая награда. Предел человеческих мечтаний. Поверь, далеко не каждому выпадает такое. Родители зачастую являются или обузой для детей, или, в лучшем случае, терпимым и неинтересным пережитком прошлого.

Она замолчала. Поглаживала его сохнувшие волосы. С открытой форточки задиристо голосили птицы. Бестелесное небо с давно неудивляющей томностью насыщалось синевой.

Склонившись возле матери, он устало прилег. Чувствовал, как неуклонно скрывался, терялся в пелене сна.

В следующий миг, когда он вынырнул в свет, были уже сумерки, комната густела тенями и темными тонами.

Медленно разлепив веки, он не поверил своим глазам. Мать прихорашивалась. Стояла у открытого шкафа, на внутренней дверце которого было зеркало, и наносила помаду на губы. Необычная, специфическая, странная мать. Мать из дальних закоулков детства. В длинном черном платье с вышитыми узорами. На крупной шее горели алые бусы. Волосы она заплела в толстую косу и перебросила через плечо.

Не выдержал и произнес:

– Ма, ты такая красивая.

– Ты проснулся? – промурлыкала в ответ. – Извини, что разбудила. Отдохнул хоть немного?

– Да, поспал. Который час?

– Тебе скоро на работу.

Мутный и разбитый, он поднялся. Ополоснул себя холодной водой, пытаясь прибавить голове ясности.

– Я так громыхала, пока наряжалась. Все боялась, что разбужу. Но ты спал, как суслик.

– Чего не разбудила? – укоризненно вздохнул. – Тебе же тяжело одной одеваться.

– Тебе нужно было отдохнуть. Сама справилась.

Неспешно, держа под руку, довел мать до кресла. Выложил на стол печенье, конфеты.

Порывшись в антресоли, достал банку алычового варенья.

– У нас есть еще бутылочка вина, – прокричал из кухни. – Доставать?

– Нет. У него проблемы с желудком, насколько я знаю. Мы просто чай поьем.

Принес чашки, сахарницу. Поставил чайник на плиту.

Мать с волнением поправляла платье.

– С минуты на минуту должен быть.

Он глянул на часы.

Вытирая лоб платком, мать добавила:

– Если через десять минут не придет, уходи. Не хочу, чтоб из-за меня опоздал.

– Не страшно. Подожду, сколько нужно.

– Нет, уйдешь.

– А как же ты дверь откроешь?

В эту секунду раздался трезвон у входа. Облегченно вздохнув, он быстро прошел в прихожую, вдавил каблук выключателя, открыл. У порога стоял мужчина. У него было злое, нагло смотрящее лицо. Близко посаженные глаза, торчащие уши, массивная челюсть. Он был невысок ростом, коренаст, жилист.

– *Мене звати Василь*, – сказал официальным тоном. – *Тут живе Світлана Володимирівна?*

– Да-да, здравствуйте, – замялся он, отодвинулся, пропуская. – Она ждет вас, я ее сын.

– *Дякую*, – произнес гость мягче. Подал руку.

Он ощутил грубую, мозолистую ладонь гостя.

– *Олег, так? Я згадую тебе зовсім малого. Час летить. Як то кажуть, у цьому наша кара и наше ж спасіння.*

Пока гость ставил обувь на бордовый линолеум, к ним вышла мать. Он подскочил к ней, ухватил за потную руку. Отвернулся, чтобы не замечать, с каким трудом ей удавалось держать на лице приветливую улыбку. Стоять ровно, не кривясь от жгучей боли в ногах.

Гость обнял мать. Взгляд мужчины, на грани злобы и агрессии, очеловечился. Они говорили друг другу приятные вещи, смущенно улыбались.

– Все, я побежал, – выпалил он, усадив мать в гостиной. – Хорошего вам вечера.

Мужчина вызвался провести.

– *Мати у тебе одна із самих хоробрих жінок, що я коли-небудь зустрівав. Бережи її*, – прошептал гость напоследок. И закрыл за ним обитую пухлым дерматином дверь.

## 5

Пока ленивые, медлительные, как тюлени, идиоты глотали кашу, эпилептики бились в судорогах, тощие шизофреники неподвижно сидели над мисками, уставясь в пространство невидящим взором, а доживающие свой век паралитики с высунутыми языками рассматривали ложки или лозунги на стенах – был объявлен отбой.

Пациентов растащили по палатам, назначили лекарства, уложили спать.

– Так, ребята, осталось трое, – сказала медсестра. Стройная, миниатюрная, с тонкими чертами на бледном лице. Она прижимала к груди пачку историй болезней.

Он и другой санитар Сергей следовали сзади, шагая по просторным и безопасным коридорам отделения.

– Как справимся, можно будет и покемарить, – добавила медсестра с облегчением.

Сергея игриво ему подмигнул, кивнув головой на округлый зад медсестры.

– Эх, я бы и пободрствовал, – сказал с усмешкой Сергей.

Он молча и равнодушно кивнул.

Остановились возле второй палаты. Их уже поджидал надзиратель с лентами порезанной простыни. У ног стояло ведро с водой, куда он окунал ленты.

– Открывай, – сказала надзирателю медсестра. Затем обратилась к санитарам: – Здесь пациент чрезмерно возбужден. Необходима фиксация в целях предотвращения увечий. Свет включать не будем, чтобы не провоцировать остальных. Наш лежит второй слева.

В темной и затхлой палате кто-то монотонно бубнел. Забранное решеткой окно не открывалось, и к нему вообще доступ был проблематичен – в виду возможных порезов. Нужный им пациент был и вправду очень активен – пружинисто вскочил при их появлении, порывался бежать, затем резко остановился, его дергало из стороны в сторону, будто получал невидимые удары. При этом он раздирал в кровь зудящую кожу.

– Как ошпаренный гоняет, – заметил Серега.

– Галоперидол, похоже, – добавил он.

Он и Серега словили пациента, скрутили и поволокли к койке. Пациент тихо мычал, невменяемо крутил головой и всячески пытался вырваться из жесткого захвата санитаров.

Они вжали больного в койку. Серега сел ему на грудную клетку, отчего тот хрипло и судорожно заметался. Он же заламывал руки, обездвигивая окончательно.

– Не рыпайся, – сдавленно прорычал, подсовывая руки больного ему же под спину.

Краем глаза он заметил, что к нему пододвинулся другой пациент, из соседней койки.

– Правильно, правильно, – злорадно науськивал. – Так этого агента Тель-Авива.

– Заткнись, Измайлов.

– А я что? – обиделся пациент Измайлов. – Я ничего. Я сижу себе, никого не трогаю, а этот подбегает и чуть не сбивает меня с ног.

– Заткнись, сказал, – повторил он. У койки показалась медсестра и стала подавать мокрые жгуты простыни. Пока Серега навалился на извивающегося пациента, он обматывал и фиксировал тело к койке.

– Знаю я ихнего брата, – продолжал злобным шепотом пациент Измайлов. – Вроде сознательный гражданин, а на деле волк в овечьей шкуре. Вокруг одни агенты. Но я всех выведу на чистую воду.

– Да-да, выведешь, – нетерпеливо огрызнулся он, беря из рук медсестры вторую ленту.

– Крути его хорошенько. Чтоб как подсохнет – и не дернулся.

– Может и тебя укрутить? – вдруг выпалил он, взглянув на Измайлова. От борьбы с сопротивляющимся пациентом его подкидывало и отбрасывало.

Пациент Измайлов насторожено отступил, отвернулся.

– А я что? Я ничего. Мой долг перед отчизной ясен. Наплодилось агентов Тель-Авива, а мне и расхлебывай все, – затем вдруг подозрительно взглянул на Олега. – Слушай, милоч, а может и ты агент?

– Доиграешься, Измайлов, – грозно сказала медсестра.

– Жанна Робертовна, я же за классовый, партийный подход! – взмолился пациент Измайлов. – Не моя вина, что вокруг одни агенты! И только и думают о том, как уничтожить госимущество. Вот, например, Чуханский снова втихаря ковырял проволоку от сетки кровати, чтоб сожрать.

– Чтооо? – с нарастающей угрозой в голосе обратилась к упомянутому пациенту медсестра. – Не угомонишься никак, Чуханский? Гвоздя не нашел уже? Нечем руку разодрать и

вену тянуть, да? Забыл, как мы тут отмывали палату от твоего фонтана? Мало тебе душа ледяного? Хочешь тоже укрутку? Или дозу увеличить? Я дежурному доложу, так и знай.

– Измайлов, сука, задушу, – раздалось приглушенное в ответ.

Он закончил обматывать руки и приступил к ногам. К тому времени возбужденный стихал, лишенный доступа кислорода – санитар Серега продолжал сдавливать ему грудную клетку. С ногами вышло быстрее. Влажные полосы простыни плотно, но мягко обтягивали конечности. Но когда они подсохнут, то вопьются в кожу очень и очень болезненно. Придется периодически приходить и ослаблять захват. Иначе пациент просто задохнется.

Но поначалу пациент, скованный, как мумия, будет кричать от боли.

Зная это, последний жгут он обмотал вокруг рта, залепив его предварительно ветошью для мытья полов.

## 6

Медсестра сверилась с папкой.

– Теперь сюда, – сказала увлеченно. – Тут самые буйные, так что давайте быстро. Крайняя койка слева. Пациента нужно забрать на беседу с Михалычем.

Прежде чем открывать дверь пятой палаты, он взял у надзирателя дубинку и саданул по железному засову. Звук вышел резкий и гулкий. Кто-то в палате взвизгнул, кто-то заматерился. Санитар Серега, весело засмеялся.

– Хоть бы не навалили там, – беззлобно заметила медсестра.

– Сами и будут убирать, – сказал он. И загремел ключами в скважине.

Прямо у порога их обдало привычно муторным, прелым воздухом. Взъерошенные пациенты дико озирались на зашедших. Редкозубый старик вскочил с койки и, по-идиотски шурясь, подошел к нему и стал щипать за локоть.

– Отвали, гнида! – огрызнулся он. Отмахнул куцое, засушенное тельце обратно на койку.

– Плоть от плоти, – проговорил старик, засовывая в слюнявый рот щепоть воображаемого тела. Снова встал и пошаркал уже к Сереге.

– Если ущипнешь меня – дам в челюсть, – предупредил Серега.

Старик моментально сменил курс и поплелся к проходу, продолжая приговаривать и засовывать пальцы в рот.

– Плоть от плоти, плоть от плоти...

Они подошли к койке у окна, скинули горку посеревшего одеяла. Там лежал пациент, что в прошлом был учителем. Скрученный, вдавленный, крепко обнявший себя, он мелко трясся от лихорадки.

– Пимко, хватить брать в рот все подряд, – устало говорила сзади медсестра. – Я же тебя сто раз предупреждала. Зубы до пеньков уже поломал. И одеяло не надо жевать, кому говорю!

Он и Серега взялись за пациента. Тот горел и был весь мокрый.

– Какую дозу вкатали, не в курсе? – спросил он.

– Да как обычно, – пожал плечами Серега. – Похоже, дядька хилый просто. Сам глянь, глист какой. Чтоб не склеил тут ненароком.

Он нагнулся. Дернул пациента за пылающее плечо, повернул к себе. Полязгял по мокрому лицу. Тот открыл глаза. Осмысленные, но подернутые пленкой мучительных страданий.

– Боровик, хочешь укрутку? – сурово выговаривала медсестра. – Сколько раз тебе говорить – не ерзай по подушке! Ты же спишь потом на ней! Ну не баба это, не баба! Так и знай, Боровик, отмывать тебя никто не будет – так и ходи с липкой гадостью на голове.

Они подхватили блестящее от пота тело пациента Гречука за подмышки.

– Ладно, потащили, – вздохнул он. – По дороге оклемается.

– Может, канифолит просто? – предположил Серега.

– Да какая нам разница. Пусть Михалыч с ним возится, наше дело доставить.

Выволокли пациента из палаты. Когда проходили возле старика, тот не упустил возможности ущипнуть его за локоть.

– Плоть от плоти, – довольно произнес.

– Ох, получишь, дурень старый, – грозно сказал он в ответ.

Медсестра остановилась у двери и добавила, угрожающе помахав пальцем:

– Рюханов, последнее предупреждение. Если еще хоть раз услышу что-то о терроре, пытках и карательных мерах и прочем навязчивом бреде, и уж тем более если начнешь агитировать остальных – укруткой на этот раз не отделаешься. Будет инсулин. Понял? Пеняй на себя. Доложу дежурному.

Эхо лязгнувшего засова раздалось по притихшему отделению. Они протянули температурного пациента по коридорам, втащили в кабинет.

Михалыча не было. Пациента усадили на шаткий стул, дрожащего и цокающего зубами. Не выдержав противного цокота, он крепко заехал по потному затылку.

Медсестра достала из кармана горсть таблеток, отделила две одинаковые.

– Нам нужно скорее прийти в себя, – сказала. – Помоги.

Он сдавил пациента за щеки и за горло, заставив сначала открыть рот, а затем и проглотить таблетки. Налив из-под крана воды, медсестра небрежно опрокинула ко рту пациента стакан. Тот, захлебываясь, обливаясь, сделал несколько глотков.

– Так, отлично, – деловито сказала. – Скоро очухается. Ты побудь с ним, а с тобой, Олжик, мы ходим к последнему на сегодня. Не будем терять время.

Они вернулись в отделение. По дороге медсестра сказала:

– Там суший пустяк остался. Нужно укол сделать, а у меня, честно говоря, просто не хватает силенок, – кокетливо улыбнулась.

– Аминазин?

– Та да. Задница деревянная, игла ни в какую. И все забывают назначить физиотерапию, чтоб размягчить. Я сегодня напишу как раз.

В восьмой палате все вели себя тихо. Или спали, или притаились. Или это было действие лекарственных препаратов.

– Вон тот, – указала медсестра. Она запроваляла шприц, не особо заботясь о наличие пузырей воздуха.

Он сел на койку, скинул одеяло. Пациент удобно лежал животом вниз, с открытыми глазами, со рта прямо на подушку натекала пенистая слюна. Он оголил ему ягодицы. На худосочном волосатом заде красовались синюшные, бугристые узлы. Будто под кожей были вшиты десятки булжников. На узлах кое-где виднелись запекшиеся точки уколов, а так же рубцы от хирургических иссечений.

– Из-за таких, как этот, человечество и погибнет, – заговорщицки прошептал сосед по койке, повернувшись к Олегу. – Не нравится ему жить здесь, вот он и накличет беду.

– Спи, олух, – небрежно осек больного. Протер спиртовой ватой часть ягодицы. Пациент вздрогнул, мышца на лице задергалась.

– Я не могу спать. Никак это невозможно. Он снова следит за мной.

– Трамвай, что ли? – усмехнулся.

– Это не смешно, – обиделся больной. – Это страшно. Огромные круглые глаза-фары. Смотрят прямо сквозь решетку. Я пытаюсь закрыться, но они слепят и не дают заснуть.

– А ты уверен, что это трамвай? А вдруг это поезд?

На секунду больной замешкался, удивленно уставился.

– Я, по-твоему, не могу отличить трамвай от поезда?

– Ну, ты же только фары видишь. А фары слепят. Как можно из-за них разглядеть?

– Я знаю, что это трамвай, – убежденно произнес. – Он меня преследует. А когда находит, то начинает рассказывать о конце света. А конец света неминуем. Трамвай съехал с рельс – и теперь планета съедет с рельс, это очевидно.

– И как быть? – спросил он. Привстал, уперся коленом в койку и вогнал с размаху шприц в ягодицу. Мышца была каменисто крепка, неподатлива, напряжена. Игла вошла на треть. Он грузно надел, проталкивая ее вглубь. Потихоньку острие разрыхляло плоть и уходило дальше.

– Да все уже, – вяло ответил больной, наблюдая за процедурой. – Мир летит к чертям, Земля наша матушка летит к чертям. Со страшной скоростью. И мы бы все тоже уже давно улетели, но нас спасает то, что мы прикреплены к поликлиникам.

– Это точно, – сдавленно сказал он и стал, придерживая, бить кулаком по поршню, будто молотком. Нехотя, по чуть, на десятые миллилитра, лекарство растекалось в организме пациента. Тот лежал неподвижно. Лишь бесшумно двигал ртом, пуская слюни.

## 7

Когда он вернулся в кабинет, Михалыч уже всю вел беседу с пациентом. Начинать светать.

Гречук вцепился руками за сиденье стула, мелко дрожал, но при этом вел себя вызывающе.

– Вы сами пишете стихи? – осведомился доктор, закуривая.

– Так, пишу.

– О чем же они?

– *Тільки людина, що ніколи в житті не написала ні рядка, може задавати подібні питання.*

– Опять ваше высокомерие, Гречук, – с легким раздражением заметил доктор. – Они ведь антисоветские по содержанию?

– *Без поняття. Я такої класифікації не чув ні разу.*

– Как, по-вашему, они разрушительны для существующего положения вещей, существующего строя?

– *Що ж це за стрій, що його можуть розвалити вірші.*

– Не могут, разумеется. Но пытаются. Поэты наивно полагают, что могут.

– *Поети ще більш наївні, і нічого подібного не мають на думці. Вони випускають на папір наболіле, те, що не дає спокійно жити. Не дає миритись із життям. Їх душа кричить віршами. Так дитина, народившись, перш за все сповіщає світу про себе криком. Так і поет сповіщає про свою душу криком віршів.*

– Очень высокопарно, Гречук, – скривился Михалыч. – Я был о вас лучшего мнения.

– *Я був о людях, що приносять клятву Гіппократа, теж кращої думки.*

Михалыч злобно взглянул на пациента, но промолчал. Сделал трескучую затяжку.

Вежливо продолжил:

– То, что вы сказали по поводу поэтического крика, это любопытно. Но ведь на самом деле жизнь от этого крика не меняется.

– *Хто знає. Можливо і змінюється. Принаймні для поета. Чи для того, хто прочитав. Якщо б вірші нічого не змінювали, то були б зовсім марні – невже їх би до сих пір писали? Якщо пишуть, то значить, якийсь у цьому є сенс.*

– Но жизнь – это другое. Это то, что происходит между криком и стихом. Обычная, нормальная, спокойная жизнь. Житейская жизнь, так сказать. Чтобы ее хорошо, правильно, с пользой прожить – это тоже своего рода поэзия. Как вам такая мысль?

– *Але не при цьому режимі.*

– Опять-двадцать пять! Так что же при нем не так?

– *Це життя раба. А життя раба – не життя, а існування. Людина гідна не ніччемоного животіння, а справжнього життя – насиченого, цілісного, життя, що виражає його потребу в особистому зростанні. Проте, радянська людина навіть не особистість. Вона лише механізм жорстокої системи, гвинтик, що функціонує. Одиниця. Безсловесна і покірна. Зацькована, нікому не потрібна, беззахисна. Безсловесна і покірна. Раб, одним словом.*

– Глупости какие. Человек – существо социальное. Ячейка общества. А социалистическое общество дает каждому по возможностям, и от каждого по потребностям.

– *Що ж, мушу вас запевнити, у людині набагато більше звіриноного, аніж нам цього хотілося би.*

– Что вы такое страшное говорите? – усмехнулся Михалыч.

– *Так, саме так. Ми і є тварини. Лише одягнуті у костюми.*

– Вы сами тоже считаете себя животным?

– *Не має значення, як я вважаю. Факт залишається історично доведеним.*

– Раз вы так ударились в дарвинизм, то при чем тут тогда советский строй?

– *Це протиправний, антигуманний режим. Людина, як і будь-яка жива істота, любить свободу. У неволі вона перетворюється на аморфну, тупу, керовану масу. Я хочу жити у свободі, а цей режим душить будь-які прояви свободи.*

– И как вы это можете доказать? – заинтересовался Михалыч.

– *Те, що я беззахисний сиджу перед вами – вже доказ. Те, що мене запроторили, як я розумію, в психіатричній лікарні, і насильно тут утримують – вже тому доказ.*

– А вы что, считаете себя здоровым?

– *Так, вважаю. І я вимагаю дотримання моїх людських прав.*

Михалыч, шумно отодвигая стул, встал, потянулся. Что-то в его обрюзгшем, дрябло-пузатом организме пробурчало. Зашагал, заложив руки за спину. Вид у него был задумчивый, благожелательный. Вот-вот казалось, что он начнет насвистывать мелодию.

– Знаете, милейший, не получается, – мягко произнес Михалыч. – Спорно ваше убеждение, так сказать. Если мы выйдем на улицу и спросим у первого встречного гражданина – в свободном он государстве живет или нет – он ответит, что в свободном.

– *Звичайно, відповідь. Тому що боїться.*

– Боится? – наивно удивился доктор.

– *Так, боїться. Повертаючись до наших азів, що вільнодумство карається, він відповідь так, як того потребує почути режим. Інакше його буде покарано.*

– Вас послушаешь, так оторопь берет, – возмутился Михалыч. – Будто мы прямо в тюрьме какой-то живем.

– *Саме так. У тюрмі, – широко улыбнулся пациент. – Я дуже радий, що ви це збагнули.* Михалыч остановился. Лицо помрачнело. Он недовольно уселся на край стола.

Жестким тоном сказал:

– И что, по-вашему, миллионы людей можно удержать в тюрьме?

– *За допомогою брехні і потужної репресивної машини – хоч мільярди.*

– Занятненько, – хмыкнул Михалыч.

– *Принаймні ви намагаєтесь, –* добавил пациент.

– Я? – изумился доктор.

– *Режим. А ви уособлюєте режим. І в самому, до речі, гидкому, каральному його прояві.*

*Отже, теж вносите свій внесок.*

Михалыч вздохнул, зевнул. Беседа явно начинала его утомлять.

Сказал назидательным тоном:

– Вот что самое плачевное в нашем разговоре, знаете? Все, что вы наговорили мне – лишь подтверждает факт вашей патологии. Вялотекущая шизофрения налицо. Простите, мне

не следует этого говорить, врачебная этика, как ни крути. Но вы совершенно больной человек – и лечить вас нужно по полной программе.

– *А знаете, що ще гірше у нашій, так би мовити, розмові?* – желчно выпалил пациент и уставился на доктора. – *Те, що нічого іншого я від вас, ліпил, і не очікував!*

Он с ноги ударил пациента по ребрам. Послышался хруст, пациент охнул и свалился со стула.

Михалыч стремительно приблизился, цепко взял его под руку и вывел в коридор.

– Правила забыл? Никаких рукоприкладств! Нам нельзя никого бить, только терапевтическое воздействие!

Он отсутствующе смотрел на Михалыча, ничего не отвечал. Михалыч безнадежно помаhal головой.

– Давай-ка на пару деньков возьмешь отгул, а?

– Да, хорошо.

– Без обид, но вид у тебя концлагерный. Отдохни, выспись. Ладно? – Михалыч хлопнул его по плечам. – Перед самой годовщиной ведь психов навалит, не до передыха будет.

## 8

В пузатом троллейбусе было сутолочно и жарко. Толпа пассажиров, хватаясь за поручни и друг друга, катила на свои работы.

В подобное утреннее время ему всегда было странно на душе – вот он едет домой, едет отдыхать, а остальные лишь начинают трудовой день. Стыдливо, укоризненно он терял глаза, чтобы вдруг не обнаружить осуждающий взгляд. Один – и битком набитый троллейбус. Праздно болтающийся пассажир и единый организм раскачанного скоростью пролетариата.

Лица попадались разные. Сонные, бодрые, расхлябанные, ироничные, любопытные, внимательные. Но все они вот-вот норовили показать неодобрение того, что он не среди них. Отдельно, обособленно. Индивидуально. И это не могло не настораживать. Не могло не тревожить.

Поначалу он стоял возле компостера. Будто механическая гнида, компостер прилип к хромированному столбу и непрерывно грыз талончики. Еще с детства его завораживал этот ненасытный аппетит, с которым аппарат справлялся с просунутым проездным. Каждый раз он внимательно наблюдал и затем представлял – что будет, если засунуть внутрь компостерного рта палец, язык, ухо? Если с рывком дернуть рычажок, пробьет ли тот что-то? Оставит ли отверстия своими цилиндрическими клыками?

Затем, загружаясь и тесня, его отодвинуло в сторону. Подпертый частями трех, он выгнул спину дугой и склонился над сидящими пассажирами. Прямо перед ним была женщина. С важным, царственным видом держала голову, при этом прикрывала веки, но цепко держала кулек на ногах. На кулке был изображен мушкетер в черной водолазке, подпирающий на яхте гитару.

Возле женщины, у окна, уместился дед. С огромными зальсынами, в очках, линзы которых способны выжечь дыру в металле, дед насуплено читал газету. В большой статье шла речь об антиафганском заговоре Вашингтона и Пекина.

Тут он услышал рядом протяжный вздох, и снова почувствовал нечто сродни вины. Ему хотелось обратиться к каждому и объяснить, что понимает, каково это – быть работающим, быть занятым, иметь трудодни. Что он не какой-нибудь дармоед на шее у родителей, не тунеядец на попечении у государства.

Он посматривал на читающего деда. На то, как тот часто поддевал воздух нижней губой, подпирал верхнюю – будто таким образом усваивал прочитанное, жевывал его внутрь себя.

С натугой троллейбус вкатил на горку. Это означало, что следующая остановка его. Протиснулся, чуть сместил бетонно вгнездившуюся тетку с каким-то пышным волосяным наростом – и оказался на открытом пространстве. У киоска «Союзпечати» образовалась небольшая очередь. Обогнув автомат с газированной водой, он оказался на маленькой, затерянной в зелени улочке. Во дворике, возле колонки, двое опустившегося вида мужиков с кепками, сделанными из газет, полоскали в луже бутылки с-под пива, а затем кропотливо отдирали мокрые этикетки.

В конце улица упиралась в больницу водников. Он повернул вправо и вскоре подошел к душистому парку.

Был предельно теплый для конца сентября день. На площадке среди множества разукрашенных арматурин резвилась детвора. Воспитательницы сидели поодаль и охотно болтали. Надрывались птицы, нагло выскакивали и слепили сквозь листву солнечные пальцы. Этот кусок города был полон нечаянного великолепия.

Он замедлил шаг. Нужно было идти спать. Но что-то внутри требовательно стучалось навстречу дню, просило остановиться, сделать паузу – и насытиться этим утром. Возможно, последним утром тепла. Возможно, первым утром близящихся холодов. Сурово лаконичной красотой, что бросалась в глаза и не давала покоя.

Свернул в сторону, дивясь и все еще не веря смене привычного маршрута. Не сдержал ухмылки от подобного хулиганства, от броского вызова обыденности. Через квартал был гастроном, возле которого часто дежурила бочка с квасом. Но ему хотелось мороженого.

У будки толпились и взрослые и дети. Почти все было распродано. Он был готов раскошелиться на эскимо «Каштан», видел, как с ним отходили довольные. Когда дошла его очередь, выбор оставался скуден. Ему досталось только томатное. Гадость редкая, но что уже было поделать.

Решил снова вернуться в парк. Сел на одну из тех скамеек, что сторожили его ежедневную тропу.

Сковыривая палочкой своеобразное по вкусу мороженое, он рассматривал прохожих. Занятые, деловые, налегке или с чиновничьими чемоданами.

Вот каково это – быть тем, кто смотрит на проходящих, а не быть проходящим. Каково быть созерцающим, отдыхающим, разнеженным солнцем и приласканным ветерком. Быть чуточку в другой роли, но все в том же фильме.

Ведь родство с этими пешеходами все равно не отменить. Мы все часть одной семьи, одной дружной, сплоченной советской семьи.

Прошел худощавый мужчина с пышными, как помазок, усами. Усы, усы, усы. В памяти тут же всплыл образ учителя Гречука. Пациента Гречука.

Что же не так с этим человеком? Что не так с подобными ему? Насколько и вправду нужно быть больным, чтобы отречься от земных радостей? Или попросту не замечать их, игнорировать их. Свихнуться со своими глупыми, никому, кроме них, не нужными идеями, этим национально-освободительном фарсом, этой борьбой за личную и всеобщую свободу.

Мимо, залиvisto хохоча, прошагали две девушки. Красивые, стройные, задорные. Одна мельком взглянула на него, смущенно улыбнулась.

Вот вальяжной походкой прошел хлыщ в модных, фарцовочных джинсах и кожаной куртке.

Мир настигал его, окутывал теплом будущего. Он заведет семью, воспитает сына. Его жизнь будет соткана из простых и понятных радостей. Что еще нужно человеку для счастья? А забота о судьбе нации пусть остается уделом безумцев. Ведь если ты не живешь в мире идеалов и иллюзий, не бьешься лбом об систему – то и система оставит в покое твой лоб.

Как можно не любить возможность дышать?

Как можно не любить возможность есть мороженое? Даже если оно томатное.

Как можно не любить возможность наслаждаться пением птиц, игрой солнца на коже?

Психически больные люди и есть звери. Звери, что рождаются в человеческом облике, в телесной оболочке. Им тесно, им плохо, им страшно – быть не в своей шкуре. Вот они и сходят с ума.

Как человек может существовать в этой среде и одновременно быть против нее? Насколько же такой человек одинок, насколько безутешен.

Это ведь жизнь, и она все движется. Как можно променять парк на палату психбольницы? Как можно променять мороженое на жидкое месиво? Как можно променять щебет птиц на монотонное бормотание из соседней койки? Как можно променять вид женских ножек на вид брюк санитаря?

Можно. Выходит, что можно. Для этого нужно быть всего лишь больным человеком. И невозможно винить человека в том, что он болен. Хотя кто-то ведь должен нести за это ответственность.

Быть может, родители. Воспитание, влияние родителей. Людей, что не привили главные, основополагающие ценности. Не сумели или не захотели.

Он вспомнил свою мать. Как же он благодарен ей за правильное, мудрое воспитание. Он почувствовал гордость за собственную мать. И он ни за что не отправит ее в стационар, не отдаст на попечение других. Он молод, вся жизнь – яркая и насыщенная – еще впереди. Все еще будет, случится обязательно. Но мать он не оставит.

С наслаждением дохрустел вафельным стаканчиком. Шорохи листвы, галдеж детей, топот проходящих – уникальное звучание городского парка не отпускало. Томная усталость и удобство сиденья скатывали его в дремотную немощность.

Усилием воли он поднял себя, стряхнул вафельные крошки и, чуть шатаясь, отправился домой.

## 9

В квартире, по обыкновению, было тихо. Ничто здесь не шумело и пребывало в привычной лежальной бессознательности. Лишь холодильник утробно урчал в своих кухонных владениях.

Он тоже привык не шуметь. Осторожно разулся, опустил на полку ключи. Выглянул из-за дверного проема. Мать спала. Мерно сопела, склонив голову вбок. Ее крупное, страдающее тело то поднимало, то опускало раскрытую книгу. Он бесшумно приблизился. Присел на край кровати. Рука ее лежала совсем рядом, была безвольно откинута для сохранения сжатых очков. Пухлые, исполненные поперечных борозд, похожих на застывшие щипки, пальцы. Ствол руки покрыт редкими белесоватыми волосками и мириадами коричневых отметин. Закругление тяжеловесного плеча терялось в рукаве ночной рубашки.

Он дотронулся до ее пальцев. До горячих, дальних представителей ее огромного организма, по стечению обстоятельств такого родного его сердцу. Пристально всматривался в ее лицо. Ему одновременно и трепетно хотелось, чтоб она проснулась – улыбнуться ей, поздороваться, выложить бесплотный кирпичик в храм его сыновьей благодарности, куда он все чаще и чаще водил бы ее, стареющую и пока еще не отошедшую.

А с другой стороны будить ее не хотелось. Ничем не нарушать ее сна, умиротворенности ее черт, сглаженности от приглушенной боли лба.

На прикроватной тумбе стояла кружка с водой. Ждали своего часа блистеры с таблетками, кое-где треснувшие от давления прозрачного купола и самой пилюли. У стены висел шнур с выключателем, с маленькой черной кнопкой посередине.

Посмотрев на календарь с изображением олимпийского мишки – лохматого, с ушами, круглыми, как два блина, лыбящегося с удалым великодушием – он встал. Отошел к своей кро-

вати, обходя скрипящие паркетины. И, раздевшись, едва прикоснувшись головой к подушке, отключился.

## 10

Дребезжание телефона не прекращалось. Он высасывал себя из тьмы сна, но сил, чтобы подняться и взять трубку – не хватало. Разлепил веки, пропуская внутрь синеву вечера.

– Сына, телефон, – раздался голос матери.

– Слышу, – пробубнел подушке.

Аппарат не унимался. Простонав, он подобрался и извлек свое вялое тело из постели. Сел. Помял залежалое лицо. Мышцы скованно и разбито поднывали.

– Сына, ты в порядке? – беспокойно сказала мать. – Отзовись, как ты?

– Та в порядке я, – проямлил невнятно и сонно.

– Телефон надрывается. Может, что-то случилось.

– Сейчас отвечу.

Сфокусировавшись на ненавистном аппарате, он схватил трубку.

– Алло...

– Алло, Олежик, это ты?

Голос и знакомый, и незнакомый. Скорее знакомый. Но ему было лень вспоминать.

– Да, я.

– Слава Богу! – вздох облегчения, и тут же торопливо голос продолжил: – Олежик, это Михалыч. Отгул отменяется. Бегом на работу! Срочно!

Голос, а тем более интонация Михалыча были и вправду незнакомы. Сонливость стремительно пропадала, заменяясь нарастающим страхом.

– А что слу..?

– Жду сейчас же! Все, отбой!

Бросил трубку.

– Кто там? – тут же возникла мать.

– С работы. Просят прийти сегодня, аврал.

– Ну как так, – мать запричитала. – Они же тебя замордуют.

– Я крепкий, сама знаешь, – улыбнулся и принялся одеваться. – Ты-то как?

– Держусь, – сказала уверенно. – Хотела рассказать, как мы посидели вчера, но, видать, не успею. Значит, позже расскажу.

– Обязательно, – подошел и поцеловал ее в терпкий лоб. – Тебе нужно что-то? Пока я тут.

– Нет, все есть, – ответила. – А если надо будет, сама доползу. Я же крепкая, сам знаешь.

– Ладно, отдыхай.

Он выбежал в вечеряющий город и спешно добрался до места работы. Михалыч ждал его в кабинете. Горела лишь настольная лампа, отчего в кабинете царил дымный, зловещий полумрак. Михалыч курил непрерывно.

– Что случилось? – спросил у порога.

Затяжка. Мучительно долгая затяжка.

– Закрой дверь, – угрюмо приказал Михалыч. Он вертел в руках спичечный коробок. – Дело дрянь, Олежик. Сядь и слушай.

Он послушно опустил на стул. У Михалыча было хмурое, в глубоких бороздах лицо. Окутал себя новой порцией дыма. Говорить медлил.

– Итак, Олежик, – вымолвил, понизив голос. – Приходили днем товарищи. Есть у них дело на очередного антисоветчика. Но один из товарищей мой близкий друг. И пока хода делу не дает. А прежде он посоветовался со мной.

– Ну? На кого дело?

Михалыч строго взглянул, но тут же опустил взгляд на коробок.

Затяжка. Мучительно долгая затяжка.

– У товарищей на руках сейчас два доноса. Один – на твою мать. Второй – на тебя и твою мать.

– Как это? – произнес он медленно, неуверенно. С непониманием откинулся на спинку.

– Закрой рот и слушай меня дальше. Вчера у вас в гостях был видный диссидент, украинский поэт и националист. Я уверен, что ты не знаешь, кто это. И потому даже формально называть не буду.

Затяжка. Мучительно долгая затяжка.

Он смотрел на костяшки рук Михалыча, покрытые пучками проволочных волос. Сколько зубов выбивали эти костяшки? Сколько ломали челюстей, перешибали носов?

– Я также уверен, что ты и понятия не имеешь, что он оставил твоей матери запрещенные, антисоветские материалы. Говорить, какие, я, разумеется, тоже не собираюсь. Но граждане не дремлют, и органам донесли о визите. Вот тут я скрывать, пожалуй, не стану – на будущее будет тебе урок. Это соседка и дворник. Кто именно на тебя донес прицепом – догадывайся уже сам.

Он поник. Слова были чужими и чуждыми. Он все еще не понимал происходящего.

Полумрак кабинета густел, чернел, утопал в мутной тьме.

Сам не заметил, что, рассеянно теребя пуговицу рубашки, внезапно дернул и оторвал ее.

– Теперь будем спасать твою несведущую шкуру, – между тем деловито продолжал Михалыч. – Ты паренек молодой, основательный, сознательный. Как сын мне практически. А завтрашний день может исковеркать твою судьбу.

Затяжка. Мучительно долгая затяжка.

Затем Михалыч с треском задавил окурок и встал.

– Есть лишь один шанс тебя спасти, – сказал, подходя ближе. Крепко вьелся пальцами в плечи, болезненно сжал и с силой поднял. Повел к столу, где только что сидел. – За тебя я ручаюсь, товарищ в курсе. Но этого мало. Нужен твой шаг.

Усаженный за стол, он недоверчиво переспросил.

– Мой шаг?

– Именно, – Михалыч покопошился в шкафу, выудил бутылку, а к ней и стакан. – Нужен один твой решительный шаг. Тяжелый, но иначе никак.

– Как это никак? Какой еще шаг? О чем речь вообще?

Михалыч невозмутимо выплескивал прозрачную жидкость в стакан.

– Да, никак, – подтвердил. – Загримишь в психушку, там тебя обработают, впаяют диагноз – и выйдешь через три года седым стариком. Ну, или овощем. Как повезет.

Он устало замотал головой. Хотелось сбросить все услышанное, стряхнуть с себя.

– Я ничего не понимаю, – чуть ли не плаксиво признался.

– А чего ж тут понимать? Потом понимать будешь, сейчас нужно действовать. Сколько тебе лет?

– Двадцать три.

– Да ты щегол еще! Вся жизнь впереди. Не разрушай ее, вот что я тебе советую. А пока на – выпей.

Михалыч вручил ему стакан и заставил дотянуть до губ, а затем и сделать несколько глотков. Жгучая горечь пробурала горло. Выступили слезы. Одеревенело застыв, он пробовал отдышаться.

– Так, парень, теперь вот, – Михалыч выложил перед ним листок и ручку. – Пиши.

Повисла пауза. Очень гадкая и жуткая. Он поднял голову и уставился на склонившегося над столом доктора. Тот спешно выпрямился, достал из кармана пачку. Зажав ртом сигарету, поднес к ней спичку. Крохотный огненный язык заметно плясал.

Затяжка. Мучительно долгая затяжка.

– У тебя есть время до рассвета, – Михалыч отошел к окну. – Утром заедут товарищи, заберут бумагу. Делу дадут ход. И завтра же, думаю, тебе следует пойти домой как можно позже. А лучше всего – вообще остаться на работе.

– Что мне писать? – грубо спросил он. Теплота в желудке разгоняла кровь.

– Ты и сам знаешь, – вдруг тихо, печально прохрипел Михалыч. И надсадно прокашлялся.

Но он не знал. Или знал. Наверно, знал сразу. Знание – не всегда сила. Иногда знание самое обессиливающее, что может лечь на плечи человеку.

– Нет, я не знаю.

– Прекрасно знаешь.

Что-то в этой тишине вдруг напомнило ему ту тишину, когда он был с ней в ванной. Тишина, которой столько же лет, сколько они помнили друг друга. Тишина его взросления рядом с ней, дней и ночей, прожитых в одной комнате. Их обоюдная тишина, которая всегда была их родной стихией, хотя то и дело прерывалась болтовней.

Но ее больше не было.

– Но она же моя мать! – сорвался он, подскочив. На искривленном лице тряслась губа.

– Потихе ты, – ядовито рявкнул Михалыч. – Она старая, больная женщина. Ее время прошло. И ты не в ответе за ее ошибки. – Михалыч пошел к двери. – А тебе еще жить и жить. Если повезет, то счастливо. Или, по крайней мере, не изувеченным. Хотя бы это в твоих руках. Не упусти свой шанс спастись.

– Спастись? – тупо повторил он, будто впервые услышал это слово. – Спастись? Это называется – спастись?

Михалыч закрыл за собой дверь. Щелкнуло в замке. Остался лишь густой, мглистый мрак.

Он плеснул в стакан и залпом осушил.

Перед ним лежали лист бумаги и ручка.

Хотелось показным, размашистым жестом закрыть лицо и устало сгорбиться. Но он сдержался.

Он не сводил взгляда с чистого листа бумаги.

## Стена

Командир поднял отекавшее лицо и глянул на отображение в дверце тумбы.

Исхудавший коврик. Прорезиненные, подавляющие шум тапочки. Мелкое подрагивание острых стрелок брюк. Локти, воткнутые в натянутость колен. Темные кляксы в области подмышек. Вислые запонки офицерской рубашки. Браслет часов, цепляющий ушной завиток. Тень склоненного лица. Лоснящийся нос. Вздутые бугры лобных вен. Нити седины на висках. Голова, крепко сжатая руками. Пятерни пальцев вздыбили короткую военную стрижку.

Затаенная скованность, накаленная одеревенелость, обманчивая неподвижность.

Сигаретные отметины на диванной обивке. Фотография в позолоченной рамке, смотрящая в потолок. Полированный дуб стола. Полка с книгами. Карта с жирными отметинами. Листок, усеянный цифрами координат. Закрытый ноутбук. Замкнутое в себе изображение на иконе.

С патефона звучали меланхоличные трубные раскаты Луи Армстронга. Музыка мягко оттесняла мерный, непрерывный гул атомных двигателей субмарины.

В дверь капитанской каюты постучали. Командир вздрогнул, повернул затекшее, осунувшееся лицо. Остервенело кривясь, потер вислую кожу, устало откинулся на спинку дивана.

С нажимом век проморгавшись, стянув костяшкой предательский ком влаги из гусиных лапок, воспаленными глазами воззрился на дверь.

Прочистив горло, осипшим голосом командир выкрикнул:

– Войдите!

Заметив фотографию, наклонился и подобрал. Держал в руках небрежно, чуть ли не помахивая, с нарочитым равнодушием, будто стыдясь быть разоблаченным в сентиментальности.

На пороге показался старший помощник. Высокий, худощавый, сутуловатый. Его лицо напоминало замороженный пельмень, который начинал оттаивать.

Он стружкой замер и выпалил:

– Разрешите доложить, товарищ командир!

– К черту формальности, – сухо ответил командир. – Погрузился и взял курс?

– Так точ...

– Скорость максимальная?

– Набираем.

– Сколько еще?

– Триста километров, товарищ командир.

– Хорошо. На подходе до Объекта сообщишь.

– Есть, – с готовностью ответил старший помощник. – Я так же принес вам сводку с центра. Это отчет об операции «Выскачка».

– Не вышло? – быстро, едва скрывая волнение, спросил командир.

– Похоже, что нет.

– Положи на стол, я гляну, – сникнув, устало попросил командир.

Старший помощник шагнул и с шелестом выложил на стол белый лист, испещренный мелким текстом.

В этот момент игла закончила вытягивать музыку из Армстронга. Командир поднялся и поставил иглу на начало. Меланхоличная мелодия заиграла вновь.

В воздухе повисла недосказанность. Старший помощник стоял у порога. Он не решался уйти, не получив разрешения.

Поставив возле патефона рамку с фотографией, не оборачиваясь к старшему помощнику, а рассеянно наблюдая за круговым вращением иглы по исцарапанному полю, командир вымолвил:

– Как ребята?

– Плохо, товарищ командир, – с досадой в голосе сказал старший помощник. – Пьют по черному, ругаются. Недовольство растет.

– Домой хотят?

– Так точно, товарищ командир. Попрощаться хотят успеть. Ведь мы как раз вышли в море, как все началось.

Командир болезненно сжал желваки. Проскользил взглядом по фотографии.

– Да, я помню, прекрасно помню, – едва подавляя дрожь, ответил. – Но мы же морской флот, а не кучка салаг с соплями вместо мозгов. Приказ есть приказ. Потому будем выполнять его до последнего. Иначе наказание по высшей строгости.

В сложившихся обстоятельствах слово «наказание» звучало как насмешка. Командир почувствовал это, невольно скривился.

– Я передам ваши слова, товарищ командир.

– Давай-давай, – подбадривающе махнул рукой.

Старший помощник козырнул и улетучился. Командир лишь тогда обернулся, еще долго смотрел на грубый квадрат двери, затем невнятно вздохнул и отошел. Став у рабочего стола, притронулся к листочку со сводкой, он вдруг взглянул вверх – и заметил маленькую иконку. Изображение божественного лика было суровым, неприступным, ничем не наводящим на мысли о милосердии и человеколюбию.

Их холодные взгляды пересеклись.

– Я знаю, что ничего не вышло, – тихо, сквозь хриплый бас афроамериканца, сказал командир.

Икона твердо стояла на своем молчании.

– И ты знаешь, что я решусь.

Икона снова не проглотила наживку. Пронизывала неестественным, давящим взором, но отвечать не удосуживалась.

– Я ведь и тебя убью, – продолжил командир сквозь зубы, – ведь и тебя не будет, если не будет нас...

Пару мгновений спустя командир размяк, рухнул на диван. Он болезненно побелел, закусил губы и с закрытыми глазами отвалился к стене. Продолжалось это не больше минуты. Затем краски вернулись к его лицу.

Он принялся степенно расхаживать по каюте.

В коротких фортепианных паузах было слышно, как вибрировали от глухого рокота стены. Субмарина, покинув полыню, валяжно и гладко шевелилась сквозь толщу ледяной воды. Командира пронизало острое желание взглянуть за борт. Иметь бы хоть крохотное окошко, иллюминатор размером с глазок. Увидеть хоть раз толщу подводного льда с его угловатыми выступами, изгрызенные треугольники синих скал, остро смотрящих в черную бездну. Увидеть пулевидные тюленьи туши, косяки бесшабашной рыбы. Или, быть может, угрюмые морды неких чудовищ, нашедших убежище от человека лишь посреди миллиардов тонн мерзлой воды.

Вышагивая, командир привычно жевал щеки и твердел взглядом на каждом попадающемся предмете. Иногда – мельком, украдкой, вскользь – ухватывался за рамку фотографии. Саму фотографию, до мельчайшей крупички и надлома в левом нижнем углу, он помнил наизусть. И каждый раз, когда рамка появлялась в поле зрения, командир твердо сжимал челюсть, сжимал кулаки, сжимался внутренне и, если б мог, сжался бы до уровня хордового планктона. Того самого, что обвивал сейчас бока его подлодки.

Сделав ненужное и бессмысленное количество шагов, командир нервно прервался. В его внезапной остановке чувствовалось больше напряжения, чем в ходьбе. Как на расстрел, он привел себя обратно к рабочему столу. Тем же старательным, едва подрагивающим движением взял листок.

Чуть заметно шевеля губами, командир читал сводку. Очки сползли на кончик носа, голова провожала глаза, поглощающие буквы.

«...в результате точечного удара, нанесенного по заданным координатам, целостность Объекта осталась прежней. Не было замечено каких-либо структурных изменений. Изменения в консистенции и цвете еще предстоит определить.

Следует отметить, что спустя тридцать две минуты в радиусе поражения на поверхности Объекта возникло грушевидное выпячивание, около километра в диаметре. Продолжая расти и отдаляться от Объекта, выпячивание обрело округлые очертания и дало два отростка – на семь и одиннадцать часов при боковой проекции. С отростков отпочковались еще два шаровидных образования, в три четверти от первого, материнского. Просуществовав пятнадцать минут, фигура стала уменьшаться, возвращаясь к поверхности Объекта.

На момент проведения связи итоги операции «Высочка» считать неудовлетворительными».

Положив листок, командир излюбленным движением лихорадочно растер лицо. Бездумно, не вчитываясь, прошелся по россыпи черных букв, выхватывая отдельные слова отчета. Очки почти сползли с сального, огрубелого носа, и он судорожно отдернул их с лица.

Беспричинно блуждая по предметам, его снова привлекла фотография в рамке.

– Все, Надюша, это конец, – грустным голосом произнес командир. Он обращался к застывшей, ухоженной, зрелой даме с властной полуулыбкой. Возле дамы, обнимая, стоял молодой мужчина, издали сходясь с дамой чертами. А с другой стороны – молодая девушка, сходясь с дамой чертами даже при мимолетном сравнении.

Вдруг деловито и уверенно командир открыл монитор ноутбука. Экран враз выбелил остатки цвета с его широкого, слегка одутловатого и дряблещекого лица.

В мелькнувшем отражении командир заметил, что лицо это было страшно, несправедливо постаревшим, изнуренным, помятым.

Он без труда отыскал нужную папку. Ее содержимое пестрело большим количеством документов, файлов, вкладок с сайтов. Нервно перетаскивая курсор вниз, он наобум выбрал текстовый файл.

Открыв его, командир внимательно уставился и тихо бубнел строки:

«Прицельная микроскопия Объекта выявила скопление неизвестных человеческой науке атомов молекул, по форме напоминающих сотни скрепленных сабель. Просачиваясь внутрь, на каждую из «сабель», будто проткнутые, нанизываются атомы водорода и кислорода.

Не удалось взять материал для проведения лабораторных исследований. Потому выявить происхождение Объекта не является на сегодняшний день возможным.

В результате массированных ударов крылатыми ракетами класса «воздух-земля» (координаты указаны выше) Объект оказался неуязвим. При этом никаких признаков брони и защитного поля не обнаружено. Следует отметить, что Объект не поддается ни деформациям, ни структурным изменениям вследствие механического, физического или же химического воздействия...»

Закрыв документ. Опустился ниже, открыл следующий:

«...на шестые сутки появления Стены была выявлена первая аномалия. В районе Гренландии, на высоте трехсот метров было зафиксировано громадное выпячивание. Сначала едва заметное, выпячивание постепенно увеличивалось, и на пике активности достигло порядка километра в поперечнике. Крайний участок образовавшегося мешка был несколько светлее. Создавалось впечатление, что он напряжен, и потому при дальнейшем росте способен к разрыву. Затем от мешочного конгломерата стала отделяться продольная часть, напоминающая балку, или перемышку. На конце продольной части постепенно тоже росло округлое образование. Стена создала двухкилометровую фигуру, и практически отделила ее от своей поверхности. Фигура, напоминающая формами гантель, просуществовала около часа, а затем постепенно словно сдулась, скукожилась и всосалась обратно в Стену...»

С тихим щелканьем документ исчез. Наконечник белого копья прошмыгнул к краю открытого окна папки, вдавился и поволок серый блок вниз, вскрывая новые и новые залежи ярлыков. Дойдя до дна папки, двойной сухой треск выудил на экран одно из первых сообщений:

«То, что издали могло показаться белесой дымкой, оказывается огромной Стеной! Невероятно! Всего в сотне километров от берегов Бразилии высится необозримая, колоссальная Стена! Может показаться, что сам Создатель воткнул в океан огромный лист бумаги – так она ослепительно и девственно бела!

Мы летим вдоль Стены и не видим ей конца-края. Это невысказано. Это чудо света...»

Закрыв. Открыл следующее:

«В 00:43 на всех спутниках мира, вдоль всего меридиана было обнаружено внезапное и молниеносное появление Объекта – огромной Стены. Замедленная съемка со спутников дает представление, что Стена стала образовываться с «краев», то есть с полюсов планеты – с Антарктики и Антарктиды. В течении двух минут сорока девяти секунд Стена сомкнулась в центральной части, в экваториальном поясе, и одновременно достигла стокилометровой высоты. Состоянием на 6:15 происхождение Стены является неизвестным, равно как и при-

чина возникновения. Ни одно из государств или организаций ответственность за происходящее на себя не берет. В течении часа после появления, потерпели катастрофу три трансатлантических самолета, количество жертв по предварительным данным около семисот человек».

В глазах зашипало. Надавив на яблоки, он унял резь. Тут же избавился от документа. Взглянул на часы. Замер, разглядывая секундную стрелку. Глаза замороженно следили, как она надменно, с непреклонной решимостью продолжала свой ход. Затем, чуть шкодливо, укоризненно ловя себя на недержании обещания, все же оглянулся к фотографии – и тут же спешно отвел взор.

Командир поднялся и снова принялся вышагивать. Остановился напротив зеркала. На него издали смотрел некогда статный мужчина, тронутый возрастной полнотой. Офицерская рубашка подчеркивала нависшие боковики, округлившийся живот. Ореол опущенной складки на подбородке.

Потрепанный мужчина с зеркала подошел ближе. Недосып выдавали глубоко запавшие пустые глаза. Стали заметны алые молнии, когтисто обступившие зрачки. Вялые покрывки подглазных мешков, сиреневых и удручающих. Носогубные изрезы все уютней вдавливались, укоренялись вокруг рта.

На него смотрел уставший, разбитый человек.

В дверь трижды постучали. И тут же, не дожидаясь ответа, нажали на ручку и открыли. В отражении зеркала командир увидел, что в каюту зашел заместитель командира по работе с личным составом, по старинке «замполит». Друг, проныра и тихий стукач.

Мелкая голова замполита напоминала оволосевший кулак. На верхушке которого располагались вечно прилизанные, сальные космы, а посреди – усы, похожие на раздавленный помазок.

– А, это ты, – сказал командир. – Ну, заходи, чего там пороги оббиваешь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.